



Окна мастерской выходят на промзону. Я арендую ее на последнем этаже бывшего швейного цеха. Здесь такие высокие потолки, что комната не прогревается даже в жару. Стены впитали запах машинного масла и железа. От пыли свербит в носу. Жгу благовония, но сквозняк, гуляющий из помещения в помещение, уносит обжигающий носоглотку дым с собой.

Паркет, уложенный «елочкой», скрипит под моими пятьюдесятью килограммами. Сколько ни мой — с него не оттереть ни столетнюю грязь, ни масляную краску. Старые, почерневшие от копоти оконные рамы вздрагивают от порывов ветра.

Мне нравится это место.

Мы делим мастерскую с тремя художниками. В этом апреле они уехали в арт-резиденцию, и я теперь одна. Прихожу сюда рано утром и сажусь на табурет посреди комнаты. Вокруг меня пять мольбертов. Я нашла их на помойке или купила по дешевке через сайт объявлений. Высокие и низкие, распатанные и почти новые, измазанные краской и посеревшие от влажности — брала любые.

На пяти мольбертах пять чистых холстов, стороны каждого из них равны длине моей руки. Я смотрю на них — на каждый по очереди, но волшебства не случается. Белый — цвет начала, пустота, которую предлагается заполнить, приглашение к диалогу. В Азии белый — цвет смерти. Эта ассоциация мне ближе: я нахожусь в точке, которая никуда не ведет. Я увязла.

Два месяца назад мне предложили поучаствовать в выставке, посвященной памяти как явлению — воспоминаниям-артефактам, что объединяют людей. Заранее выплатили небольшой го-

## Виктория Сальникова

норар, который я быстро потратила. Мне дали полную свободу, а я до сих пор не придумала, что с ней делать.

Перевожу взгляд с холстов на уличные тапочки: на подошвы налипли тополиные почки и оставили желтые смолянистые пятна на мысках. На голые ноги — на улице жара, несмотря на конец апреля, на левой коленке ссадина: неудачно покаталась на роликах. Смотрю на ладони — чистые, пахнут мылом, сразу видно, что писать не начинала.

Снова холсты.

Что объединяет меня с друзьями? Общие воспоминания: чем дольше срок дружбы, тем их больше. Первое опьянение, первая любовь, первое разочарование. Шутки, понятные только своим. Воспоминания о событиях, которых никогда не случилось, они лишь созданы воображением. Я не знала бабушку Дениса, художника, который снимает со мной мастерскую, но помнила ее — благодаря рассказам, картинам и фотографиям. В Геленджике тоже никогда не бывала, но Алиса оттуда родом, и я помню, как мы с ней ездили там на автобусе на море и, загадав желания, съедали счастливые билетки. Как яркие ложные воспоминания, думаю я, раскачиваясь на табурете.

А если говорить о людях — обо всех людях, живущих в одной местности. Могут ли у них быть ложные воспоминания? Может, именно они и делают общность общностью?

— А дальше-то что? — спрашиваю у себя.

— А дальше я буду качаться на табурете, пока не перевернусь, — отвечаю.

Поднимается ветер. От его порывов трещат рамы. В мастерской мигом становится еще холоднее. Я надеваю джинсовку и подхожу к окну. Небо цвета асфальта, и это полотно рассекает надвое цепочка серо-бурых зданий на горизонте — как шов. О стекло ударяются первые дождевые капли.

Справа взрывается молния, и на секунду меня ослепляет. Вслед за ней по небу раскатывается гром — один удар и несколько волн тише, как афтершоки.

Грохот.

Взрыв.

Темнота.

Из меня вышибает воздух. Голова кружится. Я стараюсь вдохнуть, но горло сдавило. Бежать, надо бежать — хоть куда. Спрятаться от грохота и взрывов. Пронзает стрела — от макушки до пяток. Боль распространяется по телу, как и гром, — один удар и несколько афтершоков.

Я прихожу в себя через три минуты. Вспотевшая, разгоряченная. Меня все еще трясет, но я могу заглотить воздух, вдохнуть, наполняя сначала живот, затем грудь, и медленно выдохнуть. Восстановить ритм, вернуться на табурет.

Смотрю на первый холст и закрашиваю его синей краской.

Я помню ту ночь: слякоть, осень, размытую в палисаднике землю. Стою в пижаме и резиновых сапогах на голую ногу. Топлю от скуки по скисшей грязи — незаметно, чтобы не отругали. Мама стоит рядом в махровом халате. Какого он цвета? Синего или розового.

Добавляю на холст пятно цвета фуксии и ярко-желтый, как цвет моих сапог, — всполох в синеватой темноте. Провожу светлую линию — подъезд оплели белой лентой, зацепили ее за лиственницу и кривую яблоню, что росли по обе стороны от подъездной дорожки. Рядом встали милиционеры, охраняли то ли дом, то ли людей — себя.

Очень холодно (это октябрь?), но ноги в сапогах вспотели. Не страшно. Дернула маму за руку: скоро? «Ждем, — отвечает. — Видишь, никто не приехал».

Держала за ухо плюшевого зайца. Взяла его с собой, потому что бежать из квартиры с пустыми карманами нельзя, нужно взять вещь в дорогу, чтобы вернуться. Где я об этом услышала? Наверное, в мультике или в спектакле по радио.

Папа на работе, он не знал, что нас выгнали из дома. Мама стояла рядом, обсуждала что-то с соседкой. Я слышала обрывки: «Вечер воскресенья... люди дома... много жертв». Посмотрела

## Виктория Сальникова

на свои пижамные штаны — белые с розовыми кружками, ниже колен капли грязи. Я топала по скисшей земле, и она разлеталась в разные стороны.

«Мама, — дернула ее за рукав халата. — Ну, скоро?»

«Не канючь, саперы едут».

«А кто такие саперы?» — Мой вопрос остался без ответа.

Люди рядом говорили шепотом, не останавливались, будто взрыв прогремит, если они замолчат. Не жестикулировали, двигались только губы. И глаза — туда-сюда, искали саперов. Но саперы не ехали.

Мы были с мамой вдвоем: пили чай на крошечной кухне. Я сидела на кушетке, спиной к тумбе с маленьким телевизором с выпуклым экраном. Мама — напротив, смотрела новости через мое плечо. Звук заполнял пространство.

На холсте появляются окна, свет потух — только бело-синее сияние экрана телевизора. Оно словно прилипает к лицам людей у подъезда, очерчивает кончики их носов, скулы, лбы, костяшки сжатых на воротниках кофт и рубашек пальцев.

Плыву дальше — к подъезду, в подъезд. Черный дипломат с серебряным замком. Его нашла соседка с четвертого этажа. Поднималась в квартиру, он лежал на площадке между двумя лестничными маршами. Стены зеленые, грязные — в плевках, жирных черных точках от затушенных бычков, со жвачкой, следами ботинок. Соседка на цыпочках поднялась к нам на пятый и позвонила в дверь.

«Кто это в такое время?» — удивилась мама. Она вытерла мокрые руки (наливала воду в чайник и расплескала ее) о халат и пошла открывать. Пауза — смотрит в дверной глазок, затем тройной щелчок — открыла.

Голос мамы смешался с криками из рекламного ролика.

*«Все самое лучшее, что может дать природа...»*

«На площадке вон лежит, видишь?»

*«Все ее богатство и силу...»*

«Там внутри что-то тикает!»

«Вы найдете в батончике Mars!»

«Нет, не показалось!»

Мама крикнула мне, что отойдет на секунду. Скрипнули дверные петли. Я побежала босиком в коридор, посмотрела через узкую щель на маму и соседку, прислушалась. Они спустились к дипломату, сначала постояли на почтительном расстоянии, мама скрестила руки на груди, молчала. После паузы подошла ближе, на шагок.

«Может, не надо?» — Соседка прикоснулась к ее локтю, но мама ее не послушала. Потянулась к дипломату, та крикнула и потянула ее за руку назад. Сама наклонилась, будто захотела упасть вперед, прикрыть дипломат грудью, вдавить его в бетонную плиту, сцепляющую этажи.

Мама вырвала руку и села на корточки. Край халата коснулся пола, пыльного, мокрого и обтопанного. Она склонила голову — правым ухом к дипломату.

«Да, тикает, — сказала соседке, — и что теперь делать?»

Мама вернулась домой, отправила меня на кухню и позвонила по телефону в комнате. Телевизор кричал, звук проникал в уши, горло, нос — чувствовала себя простуженной. Прислушалась к разговору мамы, но ничего не слышала.

На холсте появляются десятки окон, в каждом по телевизору, свет от экрана брызжет во все стороны, подсвечивает небо, притворяется северным сиянием — отбелью. Одно из преданий гласит, что зелено-розовые переливы в полярном небе — мост, по которому на землю спускаются боги. Новому времени — новые божества, сеанс связи с сакральным запускается кнопкой пульта.

Память выбросила меня на улицу — в холод, слякоть, на раскисшую землю. Мы все еще ждали саперов, прошла вечность, а может, всего десять минут. Как же скучно...

Свист сирен тихий, но нас он оглушил. Машина с саперами появилась из-за угла: по черным деревьям, черным домам, черному небу прыгали сине-красные блики. Смотрела на них и ду-

## Виктория Сальникова

мала о гирляндах: всего три месяца потерпеть, а там елка, подарки, Новый год.

«Приехали», — шепотом выдохнула толпа. У всех разом из легких вышел воздух — с длинным пш-ш-ш. Назло им глубоко выдохнула, ноздрями и ртом одновременно, но демарша не заметила даже мама. Она инстинктивно схватила меня за руку, словно это не саперы приехали, а милиция — за мной.

«Мам, ну скоро?» — Я не спрашивала, требовала.

«Пш-ш-ш», — ответила мама.

Саперы вышли из машины. Милиционеры, охраняющие ленту, пропустили их в подъезд. Те нагнулись, пролезли под этой белой нитью, словно перешли границу между мирами, — кланялись темноте дома, что выплеснулась на улицу. Саперы соскользнули внутрь.

Я никогда не видела, как работают саперы. По-прежнему не знаю, кто это такие и почему мы их ждем. Догадалась, что приехали за чемоданом, но чем он всех нас заинтересовал? Всмотриваюсь в окна, надеясь подглядеть через стекло. Ничего не видно. Встала на цыпочки, наклонила голову вправо и влево — слишком темно, далеко, не рассмотреть. И тут заметила, что в окнах на лестничной площадке мелькнули головы и плечи — первый этаж, второй, третий, стоп.

Четвертый этаж — площадка. Труба слева, справа окно и подоконник. Дипломат лежал возле трубы, вплотную к стене. Саперы — напротив, прислушивались.

Были ли с ними собаки? Или их берут только на наркотики? Добавляю на холст синей и красной краски, два силуэта в желтых квадратах окон, тень собаки — на всякий случай. Тень — знак присутствия и символ отсутствия, ничего не осталось, лишь силуэт на земле, столь условный, что, может, это и не собака вовсе.

Я снова там: толпа стояла, толпа ждала. Представляю взрыв, уже сегодняшняя я, та — слава ему — еще пока не съела яблока. Вижу, как вылетают стекла из окон, подъезд ухает и падает.

Не сразу весь, а как песок из ладошки, но в этих часах бетонная крошка.

Прошло время — час или сутки. Головы саперов замелькали в обратном направлении. Как две рыбины, они погрузились на дно, к нам. Вышли из подъезда, казались ватными, размякшими. В руках у одного дипломат. Синхронно махнули милиционеру, сели в машину с мигалками и уехали. Я попрощалась с бликами взглядом. Милиционер снял ленту, скрутил ее аккуратно, как портновский сантиметр — улиточкой, положил в карман. Махнули толпе, толпа ухнула и зашла в подъезд.

Мама взяла меня за руку, встала в конец вереницы — первого, второго, пятого, седьмого поглотил подъезд. Подползли к милиционеру, мама вскинула голову и молча посмотрела ему в глаза.

«Да часы обычные лежали, вот и тикали», — ответил он. Мама кивнула. У меня замерзли ноги.

Поднялись на пятый этаж, я посмотрела туда, где лежал дипломат. Так пусто, что все происходящее показалось выдумкой — сном в ночь, когда поднялась температура. Повращала глазами в поисках следа и, наконец, споткнулась о бычок. Это сапера, подумала я, и эта мысль успокоила: дипломат все-таки был, вот его отпечаток во времени.

Сразу из коридора, как только я стянула с голых ног сапоги, мама повела меня в детскую. «Утром в садик, — напомнила она. — Быстро спать!»

Ложусь на диван, простынь сбилась. Я выгнулась дугой, поправила ее под спиной. Мама взбила подушку, положила на меня тяжелое ватное одеяло, а сверху колючий плед в красную клетку.

«Мы живем на последнем этаже, — сказала я ей. — Если дом взорвут, то нас только чуть-чуть придавит, мы сможем выбраться, не переживай».

Я наконец узнала, кто такие саперы.

Мама чмокнула меня в лоб, пожелала спокойной ночи и вышла из комнаты. Щелкнул выключатель. Свет погас.



## Виктория Сальникова

Гаснет он и в окне на холсте — прямоугольник залит краской, не черной, темно-синей, такой густой, что на ней появляется блик от окна мастерской.

Добавляю деталей, сглаживаю контрасты. Готово. Ставлю холст на пол у стены напротив, чтобы просох. Больше он меня не интересует.

Сажусь возле второго мольберта. Выглядываю за него в окно, дождь все идет: маслянистые капли падают на стекло и медленно скатываются, оставляя после себя серые борозды. Сколько пыли, думаю я, и окна не помыть: они приколочены к рамам длинными гвоздями.

В некоторые самодельные (не произноси это слово, не кликай беду) добавляют гвозди, битое стекло и металлические осколки, чтобы усилить, как пишут в газетах, «поражающий эффект». Или не кладут, но поражающий эффект все равно настаивает из прошлого.

Беру самую толстую кисть из стакана — плоская «щетина» с номером 24 на ручке — и провожу линию от края до края.

Несколько лет спустя мы жили все там же — на пятом этаже, под самой крышей. У меня родился брат, его кровать подставили к родительской. Я ревновала, по ночам мне снилось, как ухают здания, когда рассыпаются, тогда я вскакивала и диван начинал казаться чужим. В слезах бежала к родителям. Длинный коридор без окон — как полоса препятствий, поворот в еще более темную прихожую (до сих пор снится, что за входной дверью в ночи притаились чудовища), зигзагом в спальню родителей, большим полукругом мимо кровати брата — и вот мама спит, можно залезть к ней под одеяло и притаиться.

За окном только начался сентябрь, теплый и ветреный, мне девять, завтра в школу. Я сидела на ковре перед телевизором, по нему крутили рекламу, ток-шоу, снова рекламу. «Иди есть!» — крикнула мама из кухни. Ужинали мы в восемь, когда папа приходил с работы.

Кухня за годы не расширилась, наоборот, стала меньше — я-то выросла. Возле стола стоял детский стульчик брата, но тот уже спал. Папа сидел за столом, затылком к тумбе с телевизором. Я села напротив, втиснулась между подоконником и раковиной. Мама стояла у плиты, я задела ее локтем, она меня бедром.

Телевизор работал на полную громкость.

Выключался ли он когда-нибудь? Я кидаю на холст фигуры — сцены из популярной рекламы, образы, позаимствованные сразу из всех роликов, которые смогла запомнить. Жаль, нельзя добавить звука.

Мы ужинали супом — куриной лапшой. Когда мама ее готовила, то всегда обжаривала вермишель на сковородке. Мне нравилось, когда та была почти черная, я вылавливала ее в тарелке и съедала первой.

По телевизору начались новости. Мама стояла за моей спиной, вытирала руки полотенцем — и замерла.

«Ты слышал?» — спросила она у папы. «А?» — ответил он, повернул голову к телевизору (шея хрустнула), стукнулся головой о соковыжималку и чуть не уронил ее на пол.

«Ты слышал? — повторила мама. — Дом взорвали». «Зачем?» — ответил папа. «Ты дурак?» — сказала мама и кинула в него полотенце. Оно пролетело через мое плечо, я наблюдала за ним как за космической ракетой, пущенной с «Байконура». Отодвинула от себя тарелку с супом — на дне остались две столовые ложки непрожаренной вермишели и два кружляшка морковки.

«Мам, сделаешь чай?» — попросила, но она не услышала. Молча пошла в прихожую, где на приставном столике возле книжных шкафов стоял телефон, и позвонила бабушке.

Бордовый телефон с черными кнопками, с закрученным проводом — рисую его. Меняю тем самым реальность: в те годы у нас стоял радиотелефон, но трубку всегда забывали поставить на подзарядку, она садилась и заваливалась куда-нибудь между диванными подушками.

## Виктория Сальникова

Папа смотрел новости. Не заходила в комнату, прижималась к стеночке возле двери, чтобы слышать, но не быть обнаруженной. Мама сказала тихо: «Сто человек, какой кошмар». «Это на юго-востоке!» — крикнул из кухни папа, будто он в телефонном разговоре третьих.

Мне надоело, я зашла в комнату, чтобы привлечь внимание мамы. Она обернулась, но посмотрела сквозь меня. Я стала стеклом, через которое она увидела подъезды, упавшие с уханьем.

«Мама, включи мультики!» — потребовала я. Она убрала трубку ото рта, прикрыла ее ладонью и прошипела: «Мультиков больше не будет».

Школа, новости, школа, новости, толпа говорила шепотом, я все же смотрела мультики. Вторая часть сентября была холодной. Зарядили дожди, они прибили бурые листья к асфальту. Побежали с мамой в школу под зонтиком, обратно домой я вернулась одна и в капюшоне, натянутом до носа. Но воды с неба лилось так много, что за пятнадцать минут на улице штаны промокли до трусов. Вот бы заболеть.

Дверь открыл дедушка, они с бабушкой сидели с нами по-сменному. Я стянула с плеча ранец и бросила его в угол в коридоре. Скинула сапоги, разбрызгав грязную воду. Пошла на кухню, дедушка нажарил котлеты с картошкой. Фарш сладковат, картошка с золотой корочкой. Брат, врезаясь в углы, катался по квартире в ходунках.

После обеда делала уроки, смотрела телевизор, ждала родителей. Мама пришла в шесть, отпустила домой дедушку и пошла готовить ужин. Сегодня папа тоже пришел рано. О чем-то говорили, что-то делали. Память выбросила меня в гостиную: папа читал книгу на диване, брат сидел в манеже, мама мыла посуду на кухне. За низким столиком я собирала конструктор из крупных деталей. Напротив телевизор — музыкальный канал.

«Представляешь!» — крикнула мама и влетела в комнату. Она схватила пульт и переключила на новости. «Что случилось?» —

Папа поднял взгляд сначала на маму, затем на экран. Я вместе с ним. Случайно уронила со стола дом, который собрала из конструктора, он разлетелся на детали — их показали по телевизору.

«Мама, что это?» — «Тс-с-с».

Родители не говорили. Мама поднесла ладони ко рту, папа оперся локтями о колени. Я начала плакать, они не слышали.

«Надо уезжать», — сказала мама. «В Подмосковье», — подтвердил папа. «А как же мои друзья?» — всхлипнула я.

«Найдешь новых».

Рассыпаю на полотне кубики конструктора, прикручиваю к ним окна, колонны, на которых держатся подъездные козырьки, красные ленты, милицейские сирены. Отношу холст к стене. Третий холст — пишу на нем красными буквами «Конец войны», жду, когда подсохнет, чтобы покрыть надпись тонким — полупрозрачным — слоем краски.

Мы жили в Подмосковье. Новых друзей я так и не нашла. У брата пока еще короткие ноги, но спал он в такой же длинной кровати, как и я, — напротив.

За окном все та же осень, утром еще светло, хотя свет приглушен. Мама зашла в комнату: «Просыпайтесь». — «Нет, дай еще поспать». — «Никаких спать!» Она включила телевизор, канал, по которому по утрам показывали мультики. Но сегодня вместо них новости. Мама замерла с пультом, брат захныкал, а я накрылась с головой одеялом.

И снова на холсте мерцание экрана, темные силуэты. Телевизор стал проводником — устройством, множащим ужас, его изобрел безумный шляпник.

Следующий кадр — кухня. В тот месяц я ела только быстросорастворимую овсянку с растертыми в порошок ягодами. Врач говорил, что у меня развилось расстройство пищевого поведения. Отрицала, ведь у меня все хорошо, а каша просто невкусная.

## Виктория Сальникова

Мама положила в глубокую белую миску три ложки каши, она чуть заветрилась. Брат ковырял яичницу и запивал сладким чаем. Мама включила телевизор и здесь — папа его повесил у самого потолка над дверью. Мы его всегда смотрели задрав головы, до боли в шее. Вслед за ней подняла взгляд к экрану, а там башни ухнули.

Застывшее в янтаре мгновение.

Смотрела на кухню и на себя, паря у потолка.

Застывшая в мгновении я.

Мир вокруг начал жить в ускоренном ритме: брат доел яичницу, мама схватила его за руку и повела умываться. Папа выпил чай. Брат оделся. Мама оделась. Брат взял рюкзачок, идет в коридор.

А я все так же сидела с ложкой, полной каши, — в пижаме, с босыми ногами, спутавшимися после сна волосами на затылке. Уханье повторялось

повторялось

повторялось

повторялось

у меня в ушах, отдавало дрожью, воздуха все меньше, он выходил из легких, как через крошечную дырочку в воздушном шаре. Голова закружилась, и меня вырвало на пол желчью и кашей. Мама прибежала из коридора, попыталась напоить водой, что-то говорила, я видела, как у нее открывался и закрывался рот, но не слышала ни звука. Она на берегу, а я пошла ко дну.

Беру передышку, шлепаю ладонями по карманам джинсов в поисках пачки сигарет. Вспоминаю, что бросила курить два года назад, но привычка осталась. Отхожу от холста, руки запачканы масляной краской, беру тряпку — коричневую, всю в цветных пятнах — и обтираю ею пальцы. Иной день писать — как уголь добывать, физически выматывает.

Достаю из кармана мятную жвачку и кладу в рот сразу четыре подушечки, имитатор сигареты — очередная попытка обма-

нуть мозг. Я встаю у окна: вечереет, дождь не заканчивается. Он прибывает к земле пыль, в ямах на асфальте под окнами образуются черные лужи. Кажется, что в этом лабиринте из промышленных зданий я одна. Ни белого света в окнах, ни людей, бегущих к метро, даже местных собак, с промокшей шерстью и несчастными мордами, и то не видно.

Можно идти домой, я сделала больше, чем обычно требую от себя. Включаю в мастерской свет: вспыхивают длинные белые лампы у потолка, в плафонах виднеются черные точки — мотыльки, превратившиеся в мумии.

Сажусь к четвертому холсту. Осталось всего ничего — и можно забыть о проекте навсегда, поехать к морю, снять домик в частном секторе у бабульки, сидеть на участке под навесом, оплетенным диким виноградом, и смотреть на узор из солнечных пятен под голыми ступнями. Дышать морем, водорослями, солнцем и трупами медуз. Забыть и не пытаться вспомнить. Еще одно ложное воспоминание, но о будущем.

Учусь в институте: первый курс — прилежно, второй курс — более-менее, третий курс — «нет, мам, сегодня лекций нет». Знакомые художники попросили попозировать в мастерской, согласилась. Сидеть несколько часов без движения тяжело, но в двадцать лет художники кажутся небожителями. Это потом, лет через десять, магия рассеется: одни сопьются, другие обзаведутся зародышем пуза, их волосы поредеют, но с годами они не смиряются. Есть третьи: они никогда не съедут от родителей и будут кланчить деньги на проезд и на булочку в столовой, четвертых подберут женщины, которым требуется крест на плечах, Питеры Пены будут вечно кормить их словами о скорой славе. Успеха достигнут единицы.

Но тогда мне было двадцать, и я ехала на «Юго-Западную» позировать в простыне — изображать из себя гречанку, родившуюся из головы Зевса. Я опять прогуливаю, стыдно ровно настолько, чтобы выступил румянец, но сессия нескоро — живем.

## Виктория Сальникова

Бегу по перрону, из-за мыслей, что меня все-таки могут выгнать из института, переставляю ноги еще быстрее. Но я наконец нашла новых друзей, и хочется вдыхать каждый день, наполняя им легкие до христа в ребрах.

«Осторожно, двери закрываются» — успеваю запрыгнуть в вагон, край куртки защемило дверьми, я дергаю, они открываются, дергаю еще — на свободе. Вагон набит людьми. Весна, холод, толстые куртки. Толпа молчит, берет меня в кольцо и сдавливает те самые легкие, в которых плещутся сто восемьдесят два с половиной дня моего двадцатилетия.

Рука мужчины рядом на поручне, его подмышка воняет потом через шесть слоев синтепона, я отворачиваюсь — в сторону женщины, одетой в сладкие духи. Еле сдерживаю рвотные позывы, хорошо, что не успела позавтракать.

Мы едем, тела трясутся в такт движению. Раз станция, два станция, три. Высвободив руку, я воткнула в уши наушники и включила плеер. Грустные песни, затем мрачные, потом громкие, снова грустные. И ведь не переключить: на четвертой станции в вагон утрамбовалась еще одна порция килек и я не могу пошевелиться. Они держат меня плечами: достают ли ноги до пола или я парю в невесомости?

В кармане завибрировал телефон, но руки уплыли за спину, его не достать. Воздуха все меньше, не только в легких, но и в вагоне. Человек на шестьдесят процентов состоит из аш два о, я погружаюсь на дно, задыхаюсь, как в детстве, когда тонула и видела лучи солнца сквозь мутную толщу воды. Сейчас передо мной желтая лампочка, коричневый свет и серые лица.

Звонит телефон. Начинаю злиться: кто такой настырный? Надеюсь, это не староста, любимица деканата, с выговором и угрозами. Вновь чувствую, как к лицу хлынула кровь и румянцем загорелись щеки.

«Осторожно, двери закрываются, следующая станция “Юго-Западная”». Встаю боком, плыву против течения, извиняюсь за от-